Вечером молодой зацветающий яблоневый сад окутал туман, который скрыл его почти полностью, и только отдельные ветки, как бы вырываясь из этого белого плена, отражались в окнах, обращенных в сторону сада. Окно столовой с двойным частым переплетом смотрело в сад. Около окна стоял стол, сделанный, как и другая мебель, пленными немцами, которые теперь ходили свободно, без конвоя, в поисках дополнительного пропитания и денег перед скорой отправкой домой. В ожидании отъезда они охотно брались за любую работу в отстроенных домах на окраине города. Напротив окна вольготно расположилась русская печь с лежанкой. Ее продолжали топить через день и весной. Протопив печь, Пелагея открывала печную дверку, смотрела на голубое свечение догорающих углей, определяла, скоро ли надо закрывать вьюшку, опасаясь угара. Очки с круглыми стеклами, с давно отломанными дужками она сдвигала на лоб, и они надежно удерживались узкой белой резинкой поверх косынки. Лицо ее из-за жара углей краснело, а стекла очков светились отраженным розово-синим свечением в полутьме столовой, где свет от лампочки под выцветшим красным абажуром, засиженным мухами еще прошлым летом, тускло освещал стол.

Вечерами Пелагея с квартиранткой Дусей сидели за столом, пили чай вприкуску с сахаром и вели неторопливые разговоры о жизни довоенной и о жизни теперешней, не загадывая, что их ожидает в будущем.

— Ну, как же у Лушки вчера в овраге ребята подорвались! Все, все четверо. Страх божий. А наш, наш-то тоже с ними был! Что делать с ним? Вчера спички пропали... Проверила его карманы, а у него ключ старый от амбарного замка там, к нему приделан гвоздь на веревке... Что это у тебя? — спрашиваю, — молчит, а мне теперь понятно, чего немцы жаловались. Представляешь? Строгает головки спичек в этот ключ, затем ставит гвоздь и бьет об столб. Немцы дергаются, показывают на него и говорят мне, смеясь: «Киндер — партизан». Я ему толкую, что нельзя людей пугать.

— А он что?

— Сказал, что если буду звать их, то взорвет... А кто дрова колоть будет? Позавчера, смотрю, топор взял. Бил, бил по полену, затем заплакал, бросил топор и пошел в малину...

— Он всегда туда уходит. Я его на той неделе выводила оттуда, немцы и мне жаловались, стрелял в них из рогатки.

— Спалит, честное слово, спалит... Какие дети до войны послушные были...

Дуся оказалась в городе совершенно случайно: отправилась в поисках лучшей жизни из Ленинграда, где пережила блокаду и потеряла всех родных, но заболела в дороге тифом и была снята с поезда. Пролежав месяц в больнице, она решила дальше никуда не ехать, а снять угол в этом городе. День она безуспешно ходила по улицам, пытаясь устроиться на квартиру, но то ли болезненный вид ее, то ли робость, с которой она спрашивала о сдаваемом жилье, не приносили результата и, окончательно устав от своих поисков, готовая расплакаться, она увидела пожилую женщину с мальчонкой, которые стояли возле палисада дома. Она подошла к ним и остановилась, ничего не спрашивая, опустив стриженую голову, теребя руками кончики старого платка, свисающего с плеч. Уже решив идти дальше, отметила про себя, как мальчик похож на умершего ее сына: такой же вихор волос и такие же грустные зеленые глаза, протянула руку и провела по его голове, при этом на лице ее появилась нежная улыбка и от глаз морщинки потянулись к вискам. Мальчонка отвернулся, уткнувшись лицом в фартук бабушки, а затем, подняв голову, с надеждой спросил Пелагею: «Мама?»

— Муж мой — фронтовик, больной очень. Живем на его пенсию, да с огорода... Денег с тебя брать не буду. Стол мой. Помогать будешь по хозяйству, да за малым смотреть... Пошли, что ли?

...Так и жили они вместе после этой случайной встречи в надежде, что муж Пелагеи поправится, в огороде все вырастет, на зиму что-то заготовят и, вообще, жизнь как-то наладится, ведь карточки давно отменили, а на продукты к каждому Новому году цены снижаются.

Лешка, так звали мальчонку, готовился к школе. Читать он не умел, но память у него была хорошая, и когда Дуся читала ему Пушкина, старался запомнить, что она прочитала. Это у него получалось, и Пелагея с удивлением слушала, как он, поставленный на табуретку, декламировал:

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам,
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам.

Сегодня, после ужина, Пелагея положила на табуретку лист старых обоев и, позвав Алексея, сказала: «Становись». Лешка не понял, что она хочет от него, зачем ему надо становиться на этот старый обойный лист, но надо слушаться. Он улыбнулся от щекотки, когда она проводила карандашом вокруг его ступни.

— Стой, не крутись, — сердилась Пелагея.

— А зачем это?

— Завтра к сапожнику пойду, обещал ботинки тебе к школе сделать.

— Бабушка, милая! Настоящие ботинки!

Счастью его не было предела, уже лежа в кровати, он закрывал глаза, чтобы поскорее уснуть, но не спалось. Он накрывался одеялом, натягивая его на голову, но даже в темноте, под одеялом ему казалось, что светло, а значит, заснуть ну никак невозможно, тогда он предпринял верную попытку, достав из-под подушки мамину фотографию — так он проделывал часто. Он достал фотографию и долго смотрел на нее, пока мама вдруг, перестав быть серьезной, не начинала улыбаться, и тогда он целовал фотографию, гладил рукой по ней, ощущая теплоту, и рассказывал, рассказывал. Так и засыпал под свои рассказы. Он рассказывал ей только хорошие, веселые, радостные истории, а плохие, грустные, не рассказывал никогда. И не потому, что боялся огорчить ее, а потому, что ему было стыдно, стыдно за людей, с которыми пришлось столкнуться, стыдно за их поступки и слова. Вот вчера он рассказал ей, что в саду ощенилась их собака — Стрелка. Она вырыла нору и долго никого не подпускала, рычала, а ему позволила подойти и вытаскивать толстых, лобастых щенков, смешно высовывавших розовые язычки и забавно урчащих. Он брал щенка обеими руками, боясь уронить, смотрел в его черные глаза-бусинки, целовал в мордочку, гладил по спине, а подошедшая Стрелка стояла рядом, виляя хвостом, и облизывала то щенка, то его, щекоча шершавым языком щеку. И было так хорошо и так смешно, что он уже не обращал внимания на то, как легкий ветерок поднимал невесомые шарики одуванчиков, и они, рассыпавшись, кружились в воздухе, как где-то рядом щебечут птички, совсем невидимые в белых цветах яблонек.

Он не рассказал ей, что, услышав скрежет отодвигаемой доски в заборе, не сразу посмотрел в сторону, откуда раздался неожиданный звук, а когда увидел пьяного соседа с мешком в руках, было уже поздно: тот, подбежав, прихрамывая, толкнул его в плечо, и, выплюнув окурок, вытирая слюни со своего небритого подбородка рукавом старой гимнастерки, замахнулся рукой на зарычавшую собаку палкой, а второй схватил упавшего из Лешкиных рук щенка, стал засовывать его в мешок.

— Фас, Стрелка, фас, — кричал Лешка, схватившись за мешок. Собака вцепилась в руку соседа, а затем отпустила, когда тот выпустил мешок со скулящим в нем щенком.

— Ну, подожди… ты у меня еще… я тебе это припомню! — кричал сосед с улицы.

Другой раз он рассказывал, как они с ребятами пекли картошку в овраге, как хрустела, отслаиваясь, черная картофельная корочка, и сразу за ней поднимался белый парок распаренной мякоти, а они, перемазавшись сажей, показывали друг на друга пальцами и смеялись, смеялись до колик в животе, крича, перебивая друг друга:

— Ой, умора… ой, умора!

И когда поднялись из оврага, выйдя на улицу, не сговариваясь, обнимали руками друг друга за плечи и так, в обнимку, шли по всей шири-

не улицы, ступая босыми ногами в нагретую за день пыль дороги, и казалось, что ласточки, пролетающие низко над их головами, оттого так и кричат радостно, что завидуют их счастью.

И опять он замолкал, вспоминая, как пацан с соседней улицы, прикативший на загнутом металлическом пруте и ржавом обруче от бочки, бегущий к ним навстречу, вдруг увидев уличного дурочка — Витю, испугался его, упустил обруч и, чтобы скрыть свой испуг, протянув руку с прутом в сторону Вити, стал громко дразниться:

— Витя — дурак... Витя — дурак!

Витя был взрослым, но маленького роста, ходил он круглый год в старой, ставшей желтой от времени солдатской шинели до самых пят, одетой на грязное голое тело. На ногах разбитые сапоги, стоптанные набок, с видневшимися портянками из почти оторванных подошв. На голове его, мытой разве что только дождями, лохматые волосы стояли дыбом. Ребята рассказывали услышанный от взрослых разговор, что Витя «тронулся», когда на его глазах расстреляли родителей и маленькую сестренку. Когда Витю начинали дразнить, он опускал низко голову, вытягивая вперед обе руки с согнутыми пальцами. И тогда его грязные руки с никогда не обрезаемыми ногтями были похожи на лапы с когтями, что приводило в оторопь всех, смотревших на него, а он, ухмыляясь, что было трудно рассмотреть, начинал кричать: «А...а...а...» И кровь стыла в жилах. Несколько секунд ребята стояли, совершенно остолбенев от этого рыка, а затем, чуть придя в себя, бросались бежать и останавливались, отбежав от него далеко, когда, казалось, сердце выпрыгнет из груди. Вот и тогда Витя опустил голову, вытянул вперед руки, а Лешка, пересиливая страх, шагнул к нему навстречу и, подняв руку, провел по грязным Витиным волосам:

— Витя, ты хороший... не бойся их. — И, уже обращаясь ко всем, попросил: — Не надо его обижать.

Ребята, молча опустив головы, чтоб, не дай Бог, встретиться с Витиным взглядом, прошли, сторонясь их. И Лешка заметил, как затряслись Витины плечи и, сгибаясь еще сильней, он стал шарить в кармане шинели, достал замусоленный, грязный кусок сахара:

— На, возьми... Только в овраг не ходи, там немцы.

— Спасибо, Витя, но я сахар не люблю, — соврал Лешка. — А немцев в овраге нет, война давно кончилась.

— Война давно кончилась, — услышал Лешка голос бабушки. — А ты, Дуся, все крошки собираешь со стола. Вот же хлеб, ешь, сколько хочешь.

— Я не могу смотреть, когда крошки лежат... сейчас еще смахнете, убирая со стола, — она замолчала на минуту и продолжила, — я каждую косточку свою помню, каждую жилку на руке.

В наступившей тишине было слышно, как стучит шприц на металлическом лотке от закипевшей воды, и в соседней комнате застонал дед.

— Надо идти, сделать ему укол. Дуся, я совсем не вижу, где там у него вены, — сказала Пелагея.

Неожиданно захрипела черная тарелка радио, висевшая в углу. Радио играло, когда хотело, в основном поздно вечером и рано утром. Тогда торжественно звучал гимн, а сейчас хрипело: «Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл... Сатана там правит бал, сатана там правит бал».

— Выключи черта, — раздраженно попросила бабушка, — а то малого разбудит. Надо форточку приоткрыть, сильно протопили, что-то душно.

В открытую форточку повеяло свежестью и ароматом цветущего сада, но ненадолго, резкий запах лекарства из стеклянной ампулы пересилил весенний аромат, когда Дуся стала набирать лекарство шприцем.

— Сколько же сапожник запросил за ботинки? — спросила она, давя на шток шприца, подняв его вверх и наблюдая вылетающую из иглы струйку.

— Да ничего. Договорились, что я ему отдам хромовые сапоги.

— Так это лучше их продать, да купить ботинки!

— Где я их буду продавать и когда? И где буду искать ботинки?

«Так вот оно как? Значит, решила, что дед умрет, и сапоги она уже готова отдать», — с грустью подумал Лешка, и когда Дуся с Пелагей пошли делать укол, встал с кровати и долго стоял перед табуреткой, смотрел на старый лист обоев, с обведенными его ступнями, а затем, услышав разговор возвращающихся домочадцев, юркнул опять под одеяло, прихватив обойный лист.

— Нет, ну это ж надо, — возвращаясь в столовую, явно с улыбкой, говорила бабушка, — спойте ему. И ведь всю жизнь так... Ладно, давай, только потихоньку, его любимую...

Лешка лежал, держа обеими руками старый лист обоев, и казалось, что от листа идет жар, этот жар жег пальцы, ладони и поднимался выше и выше, и стучало от этого жара в висках, слезы текли по его щекам, а из столовой тихо доносилось:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
до самого тына?
Как же мне, рябине,
К дубу перебраться?
Знать судьба такая...

В столовой за столом сидели бабушка с квартиранткой и тихо пели. Тускло рассеивался свет от красного абажура, внизу вяло шевелилась его бахрома, тревожимая дуновением ветерка в форточку. Со двора иногда доносилось завывание собаки. Глухо тикали ходики на перегородке из соснового теса, оклеенного обоями. За перегородкой глухо стонал больной дед. И совсем не было слышно, как Лешка разрывал старый обойный лист с обрисованными своими ступнями и, отрывая, бросал маленькие кусочки обоев на пол.

Утром Пелагея остановила ходики и стала завешивать старое, с паутинками трещинок, зеркало, стоявшее на комоде. Под ногами что-то шуршало. Посмотрев на пол, она увидела клочки разорванных обоев. Пелагея перевела взгляд на кровать, где спал Лешка, уткнувшись лицом в подушку. Его правая рука с зажатой фотографией свисала вниз до самого пола. Подняв руку, она провела ладонью по его голове и тихо простонала: «Эх, тонкая рябина...»